



А. В. БОБРИЦЕВ-ПУШКИН

Новая вера

<Фрагменты>

I

Третьей революции не будет.

Вот та «низкая истина», которую следует проникнуться вместо тьмы «возвышающих обманов», на которых отводит свою наболевшую душу русская эмиграция. — «Не надо разбивать веру хоть в чудо. Пусть люди отдыхают хоть на иллюзиях». Таково мнение, которое слишком часто приходится нынче слышать от тех, у кого довольно хорошие глаза, чтобы оценить положение, но слишком мягкое сердце, чтобы продающему газеты полковнику, служащему в швейцарах князю и бесчисленным просто голодным безработным сказать: «Гражданская война проиграна окончательно. Россия давно идет своим, не нашим путем. Кризис кончился. Положение определилось. Или признайте эту ненавистную вам Россию, или оставайтесь без России, потому что “третьей России” по вашим рецептам нет и не будет».

Вместо того — покачтки, по выражению Тэффи¹: все живут «пока что», перемогаясь, стараясь дотянуть до возвращения в эту третью Россию. Советская власть к агонии, доживает последние дни. Как известно, после Октябрьской революции наши дипломаты уверяли Антанту, что большевики слетят через неделю. То же упорно повторяется четыре года в «Общем Деле»², с резкою бранью: «евнухи», «предатели», «малодушные», по адресу всех державших быть более проницательными; все эти эпитеты были расточаемы видевшим, что Крым не сможет держаться против всей России, как только кончится русско-польская война. Прошел год с тех пор — и советская власть все в «агонии» и даже классическая «неделя» все налицо: Алексинский в речи, Бурцев в статье в июне вновь повторяли: падение советской власти произойдет через несколько недель. Где же

осуществление этих пророчеств? Не пора ли сказать себе, что долг реального политика принимать факт, как бы он ни был неприятен, что надо, попросту, уметь смотреть правде в глаза? Страусова политика или реальная политика?

Если страусова, продолжайте отдыхать на иллюзиях. Замените «недели» «Общего Дела» меланхолическим «Мы не ставим сроков» «Последних Новостей»³ и повторяйте за дамами, продающими последнюю брошку: «Не может же быть, чтобы это продолжалось еще долго». Тогда естественны эти странные учреждения, переполняющие все столицы: русское посольство, русская миссия, даже управление военного агента! Совет частных железных дорог в России. Торговый агент Южнорусского правительства. Союзы: инженеров, присяжных поверенных и бесчисленные другие. Есть учреждения Временного правительства, есть украинские, есть врангелевские, есть грузинские и азербайджанские, есть агенты разных министерств, есть управления всевозможных частных учреждений, — когда на свете нет давно ни этих учреждений, ни этих министерств, ни этих правительств. Как геолог в окаменелом слое отыскивает следы формаций различных эпох, так по спискам этих учреждений можно восстановить разные периоды многострадальной России. Периоды отошли в историю, а учреждения и должностные лица живут, часто благоденствуют. Загробная жизнь, в которой нет ничего спиритического. Небывалый в истории хронический анахронизм. Всем известно, что это фикция, что генералы, присяжные поверенные, послы могут носить свои звания лишь в реликвии, так, как в пику большевикам подписался один в бумаге на их имя: «Урожденный генерал-майор такой-то». Все это было. Всего этого больше нет. «В карете прошлого далеко не уедешь». Пусть каждое напоминание о действительности вызывает крики гнева и боли, оно необходимо из простой человечности: ведь сколько тяжелых драм кроется под этим питанием иллюзиями; не имея иллюзий, многие устроили бы иначе свою частную жизнь, а некоторые пересмотрели бы и свою идеологию. Но все, как грешник Додэ⁴, попавший в ад, считают происходящее за страшный сон, который скоро пройдет. «Он еще в периоде сна, — говорят жалеющие его другие страдальцы. — Все мы прошли чрез этот период. Но когда он увидит, что его сон длится века и тысячелетия, он наконец поймет, что это действительность».

Если же на смену страусовой политики должна прийти реальная, то надо понять, что жизнь жестоко, насильственно откроет еще жмурящиеся перед нею робкие глаза. Пока эмиграция гадает, скоро ли погибнет советская власть, советская власть может рассчитать до-

вольно точно, скоро ли погибнет эмиграция. Вырванные с корнем из родной земли растения не могут не засохнуть. Некоторым отдельным исключениям пересадка удастся ценою утраты всякой связи с Россиею, но большинство — без пересадки, корнями вверх. Вся такая эмиграция погибнет в несколько лет, если не воссоединится с родиною. Это — неумолимый закон жизни. Вот почему надо же себе отдать отчет, на чем основаны мечты о крушении советской власти, о восстановлении такой России, в которую эмигрант соизволит вернуться. Прежде тут были реальные возможности: интервенция, Белая армия. Они отпали. Не может быть надежды на интервенцию после определившейся позиции рабочих и солдат любой страны — после одесского возмущения французских солдат, отказа рабочих грузить снаряды для Врангеля и для поляков, позиции английской рабочей партии и т. д. Вообще всякий разговор об интервенции теперь настолько же нереален, относится к области очевидной фантазии, как и разговор о русской армии. Национальный съезд⁵ здесь занимался самогипнозом, как будто от громких аплодисментов и фраз несуществующее может опять стать существующим.

Нельзя без глубокой скорби и негодования вспомнить о сотнях тысяч бесполезных кровавых жертв, которых стоила крымская гальванизация белого фронта, убитого при Деникине⁶. Но теперь восклицать о восстановлении как военной силы этих несчастных, оборванных, обезоруженных, голодных и холодных людей значит издеваться над ними своими овациями из парижского приволья, когда они делают себе в землянках печи из квадратных, а трубы из круглых консервных коробок. С глубоким уважением к крестному пути русской армии, разделившейся роковым образом на армию Врангеля и армию Брусилова⁷ на два лагеря, в междоусобице истреблявших друг друга русских людей, — пройдем мимо, с жаждою дожить до светлого часа их примирения. Здесь уже не драма — здесь одна из величайших трагедий истории. Брат на брата — неизбывная взаимная ненависть и проклятия. И там и здесь неисчислимы подвиги русского солдата и офицера, и там и здесь неисчислимы геройские смерти — и, увы! — неисчислимы преступления. Оба лагеря видят только свой подвиг и только преступление врага. Оба пришли бы в крайний гнев, как от высшего оскорбления, от самой мысли о проведенном между ними знаке равенства, о том, что они такие же русские люди в своей вражде, с великою доблестью, с великою бездною. Такова черная злоба гражданской войны, всегда более беспощадной, злобной, мучительской, извращенной, чем война между разными племенами

Но теперь — она кончена.

Она кончена, потому что невозможна интервенция и потому что Белой армии больше не существует. Пока есть лотерейный билет, можно надеяться выиграть. Нет билета — нет и надежды на выигрыш. Мы тщетно бы искали во всяких статьях, в речах ответа на вопрос: какую механическую силою может быть свергнута советская власть, по мнению ее противников. В возражение проф. Устрялову Пасманик⁸ совершенно обошел указания Устрялова на отсутствие какой бы то ни было реальной концепции ее свержения. Действительно, на это ответить невозможно. Поможет Николай Чудотворец. Советская власть падет «авось», «небось» и «как-нибудь», падет, как иерихонские стены от публицистических труб и воплей. Как-нибудь? — «Мы рады верить, мы жаждем верить, хотя бы даже и на честь». «Когда нам скажут, что хотим, куда как верится охотно». Так ответит эмиграция. Хорошо. Но все-таки приходится «наступать тяжелыми подошвами на крылышки мечты». Без интервенции и без армии — как же? Внутренний взрыв? Деревня.

Деревня против города. Ведь еще граф Витте⁹ в законе о выборах в первую Думу делал ставки на консервативность русского мужичка. Очень характерно в этом отношении было выступление на Национальном съезде¹⁰ «представителя Всероссийского Крестьянского Союза»¹¹. Крестьяне послали через оратора приветствие Врангелю. Крестьяне не грабители. Они всегда выражали желание за землю платить. Крестьяне желают, чтобы земля была им дана законным порядком. Словом, мужичок стилизованный, как на белых приемах в Царском Селе, кроткий, на все согласный. В полной гармонии с таким мужичком резолюции Торгово-Промышленного и Национального съездов. «Владельцы, утратившие свои земли, должны быть вознаграждены государством». Государственные деньги получают налогами. Значит, опять — заплатит крестьянин, опять повесть о том, как щедринский мужик двух генералов прокормил¹². Разве надо даже доказывать, что здесь мужичок — из потемкинских деревень? Настоящая деревня была открыта не «Антоном Горемыкою»¹³, а страшным родионовским «Наше преступление»¹⁴. Она открылась на мгновение при Пугачеве, как откровением в грозе и буре на миг открываются бездонные хляби океана — и потом опять можно было писать даже «Бедную Лизу»¹⁵. Проклинайте эту подлинную деревню как исчадие тьмы или смотрите на нее как на будущую творческую силу, но оплота для переворота в пользу парламентаризма и демократии в ней нельзя никак усмотреть. Во-первых, деревня выиграла от советского строя — уже потому, что ей нечего было проигрывать. Ее благосостояние увеличилось. Увеличилось —

и притом в неожиданной, очень большой степени — ее развитие. Шла своим ходом русская история, а крестьянин в ней никакого участия не принимал: это была, как в древности, история богов, царей и героев, а он оставался в своей избе, неизменной со времен Гостомысла, не сделав с тех пор шагу в своем развитии. То, что он вовлечен теперь в государственную борьбу, должен отдавать себе отчет в происходящем вокруг, и, главное, то, что в нем так нуждаются, разумеется, сильно двинуло вперед его развитие. Он сошел наконец с мертвой точки и теперь пойдет по открывшемуся перед ним пути.

Во-вторых, дан именно в этой области незабываемый предметный урок — от Скоропадского¹⁶ до Деникина. Инстинктов не сдержишь... хоть бы подождали до Москвы. Но помещики кинулись на свои пепелища. Все, что писалось в советской печати о классовых интересах помещиков, сановников, дворян, генералов, реакционеров, получило, с этими необузданными аппетитами, яркое предметное доказательство. Фактов напоминать не стоит — они у всех в памяти: «конец белой мечты». И, ничего не забыв, ничему не научившись, Национальный съезд шумно аплодировал заявлениям своих ораторов, что будущая власть вовсе не собирается делать народу приятное и обещаниям карательных экспедиций деревне, которая несомненно «ощетинится». Поэтому, в-третьих: сами правящие классы закалили русский народ. Они ему ничего не дали — он даже из крепостного состояния был освобожден без земли. Сумели все завоевания культуры провести так, чтобы русская деревня ими не воспользовалась. Деревня не знала ни наук, ни искусств — даже грамоты. Государственный Совет отклонил кредиты на народное просвещение даже третьей Думы. Деревню искусственно держали в темноте, считая, что так вернее для ее преданности царю и отечеству. Много ли ей давали даже железные дороги и тому подобные технические изобретения? Много ли ей давал город с его торговлею и промышленностью? Так этой ли изнуренной деревне в диковинку лишения? Она ли подымается оттого, что железнодорожный транспорт производится медленно и в нем нет классных вагонов? Или после карательных экспедиций при Романовых, при Скоропадском, при Деникине ее подвинут на возмущение советские реквизиции? Как Митридат¹⁷ был закален против всяких ядов, так деревня приняла от бывших правящих классов слишком большие дозы всякого насилия, голода, темноты. Никакою разрухою, никаким отсутствием культуры ее не испугаешь. Непривилегированные классы России, в деревне и в городе, веками приучены быть неприхотливыми. Поэтому с ними теперь бита всякая ставка и на экономическую разруху, и на отсутствие гражданских

свобод. Итак, — ни интервенция, ни русская несуществующая армия, ни взрыв изнутри или экономическая разруха.

И все же у, по-видимому, одетой таким образом в несокрушимую броню советской власти есть Ахиллесова пята. Кто хочет, — может за это ухватиться и, торжествуя, цитировать. Эта Ахиллесова пята — анархия. Это Кронштадт, это царь Махно¹⁸. Жаль одного: они не правее, а левее большевиков. Это — сила не центробежная, не на воздух, к солнцу, а — глубже в землю. От этого распада, напрягая все усилия, спасает Россию советская власть, и прав Уэллс¹⁹, говоря, что уничтожить ее значит перебить России позвоночный хребет. Это не нравится? Большевизм обвиняется в том, что он внес анархию? Не будем ни спорить, ни соглашаться: право, важно будущее, а не прошедшее. Но часто ведь вынуть из раны нанесший ее дротик значило открыть рану, заставить истечь кровью раненого воина. Причинивший рану дротик затыкал ее. Те, кому ненавистен большевизм, должны бы еще более ненавидеть анархию. Но исконный грех политиков: если берет верх противная им партия, они обрадуются, увидев свою родину пораженной моровой язвой. Чем хуже, тем лучше. Правые круги эмиграции в своем безответственном заграничном положении переняли все худшие лозунги эсеров, совсем не заботясь о том, может ли русский народ смотреть как на своих друзей на тех, кто всячески старался препятствовать доступу к нему лекарства, платья, обуви, земледельческих машин, всего для него нужного. Припоминаю один процесс в Ростове. Военный суд судил советского служащего. Ряд свидетелей показывал, что это был прекрасный, принесший много пользы на своем посту человек. «Тем хуже! — воскликнул военный прокурор. — В этом-то и состоит его вина! Этим он укреплял советскую власть, поддерживал порядок, поддерживал в населении покой вместо недовольства советским строем, разрухи и хаоса. За это он должен быть строго наказан!»

При анархии получился бы этот любезный сердцу многих хаос. Что ж такое, затмение — потом проглянет солнце. Правда, затмение бескровно, а желающим такого затмения пришлось бы повторить слова Наполеона: «Что значит для такого человека, как я, миллион жизней», да еще выплыть из этого океана крови, хоть Наполеонов что-то нет, а мармидонцы²⁰, стремящиеся поднять меч Ахилла²¹, только одерживают победы друг над другом. Поехал Гучков в Женеву — Милюков, торжествуя, трубит, что его «парализовал». Русская грызня: кто бы ни попробовал что-нибудь сделать на пепелище после большевиков, другие непременно его парализуют. Никого нет, кто бы был в состоянии взять в свои руки после большевиков тяжкий меч власти. Во вся-

ком случае, надо твердо помнить одно: за три года одни монархисты сумели организовать против советской власти вооруженное сопротивление. Что же скрывать шило в мешке, Белые армии, состоявшие почти сплошь из офицеров, были, конечно, монархическими. Тогда вставала дилемма: Красный Кремль или кремль с колокольным звоном царей московских. Народ предпочел первое. Но во время деникинской катастрофы какой-то мелкий репортер, не имея темы, пустил в свою статейку миф, что Махно монархист — он за крестьянского царя²². Какой получился изумительный успех! Махно оказался кумиром изящных дам, коммерсантов, генералов и либералов: теперь-то большевики уж наверное слетят — видите, крестьяне за монархию. Все поверили, что Врангель и Махно в союзе спасут Россию. А чем был Махно со своею заставою Соловья-разбойника, со своими безобразными дикими всадниками, с сокровищами, зарытыми у Гуляй Поля, с ответом екатеринославским почтово-телеграфным чиновникам: «Почты нам не треба» и с, вероятно, апокрифическим, но так радостно передаваемым нежными дамскими устами ответом на просьбу о хлебном поезде для голодающего Петрограда: «За поезд хлеба — вагон жидов»? Махно был анархической отрыжкой векового крестьянского гнета, был стихийным многоголовым царем-зверем, который один, безымянный и безликий, мог бы прийти на смену советской власти, если бы она не вздернула, как медный всадник, Россию перед бездною на дыбы. Вся Россия была бы отброшена к доисторическому периоду, к безвластию, к грабежу кочующих шаек. Или нельзя даже учесть, до чего бы дошла реакция. Венгрия тому слабый пример²³. Нельзя представить себе, при самой горячечной фантазии, этих картин злобы и мести. Кроткими сестрами милосердия, сравнительно с такою действительностью, казались бы дамы, некогда раскрывавшие свои кружевные зонтики в ранах поверженных коммунаров.

Махно был родным братом кронштадтским матросам. Вот еще одна, к великому счастью для России, подавленная анархическая попытка увлечь ее в бездну. И с краской стыда приходится вспоминать, как приветствовали из Парижа тех, кого вчера с ужасом проклинали как убийц тысяч морских офицеров и Кокошкина²⁴ и Шингарева²⁵. Со стороны большевиков понятно, что, делая свой прорыв к власти, они оперлись на эту грозно разнуздавшуюся в революционном порыве, дошедшую до крайней жестокости и преступности силу, но и они терпели эту разнузданность лишь поневоле, лишь пока на первых порах были слабою властью. Убийство Кокошкина и Шингарева привело Ленина в ужас, вызвало его гласный протест, а сделать тогда ничего нельзя было: не было сил, слишком бушевал хаос только что совершив-

шейся революции. Однако, как только волны улеглись, большевики не стали потакать ничьей разнузданности — на всех нашлась крепкая узда, и на анархические стремления, и на чисто уголовные убийства и налеты: известно, что охрана безопасности граждан от уголовных преступлений поставлена в Советской России на должную высоту. При Временном правительстве и в первые месяцы существования советской власти налеты и грабежи были повсеместным бичом, теперь преступникам трудно, репрессии против них беспощадны. Естественно, что обуздание анархии не нравится разнузданным элементам. Не может матросам нравиться, что из красоты и гордости революции они стали ее солдатами, подчиненными суровому порядку. Отсюда их восстание против большевиков в тот период, когда те вводят порядок, так же понятное, как их союз с большевиками в тот период, когда те, создавая революцию, создавали беспорядок. Но если понятно, таким образом, отношение большевиков к матросам, то совершенно непонятно, как на столбцах парижских газет эта «темная сила», эта «матросня» превратилась в доблестную армию, в борцов за свободу, когда восстала против советской власти, дала воду на остановившиеся парижские мельницы. Что за неразборчивость в средствах: иностранцы, расхищающие Россию, так иностранцы, Махно так Махно, матросы так матросы — так и протянулись руки для пожатия рук, обагренных в крови тысяч жертв из того же белого лагеря! Что красные не смущались кровью белых — естественно, но сравнительно с парижской позицией белых, забывших про кровь своих соратников, куда была естественнее сербская позиция монархистов, говоривших: «С такими восстаниями нам не по пути». Они понимали, что при малейшем шансе на успех белых или розовых те же матросы грудью бы встали за советскую власть, лишь бы не пустить общего врага в Россию. И какая поразительная самоуверенность у приветствующих анархию, которая бы свергла большевиков. Мы-то уж справимся с анархией, даже такую, которая сильнее советской власти... Мы все поправим — даже при взаимной грызне, при уже доказанном бессилии и бездарности.

В действительности же советская власть при всех ее дефектах — максимум власти, могущей быть в России, переживающей кризис революции. Другой власти быть не может — никто ни с чем не справится, все перегрызутся. Относительно того, что никто ни с чем не справится, дало предметный урок Временное правительство, составленное из самых популярных лидеров всех либеральных партий, из «лучших людей» интеллигенции. Относительно того, что все перегрызутся, дала предметный урок эмиграционная политиче-

ская свара. Одна советская власть, против которой были всемирная коалиция, Белые армии, занявшие три четверти русской территории, внутренняя разруха, голод, холод и увлекавшая Россию в анархию сила центробежной инерции, сумела победить все эти исторически беспримерные затруднения.

Отчего?

<...>

И вот, под влиянием последней войны, вдруг получился сдвиг. Картина мира изменилась в несколько лет — потому, что изменилась психология масс. Из покорных они стали сознательными. Теперь немислим солдат — орудие королей, рабочий — орудие фабрикантов, крестьянин — орудие помещиков. Масса вся подняла головы, вся зашевелилась. В каждой голове есть своя мысль, в каждом сердце свое хотение. Изменение получилось такое же сильное, как когда в сказке зашевелился рыба-кит. Еще недавно он лежал неподвижно: «все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты», а теперь жившим на его спине совсем не удастся ему доказать, как неудобно его потрясение и какой он глупый, что шевелится, как покойно и хорошо для него было лежать смиренно. Так отвергается народом с иронией вся пышная, либеральная идеология правого государства, украшенная роскошной живописью лучших интеллигентных умов. Все эти свободы хороши, но текли только по усам народа, не попадая в рот.

С такую идеологию пришла к революционному творчеству русская интеллигенция, — ей казалось, что принципы Радищева²⁶ и декабристов не устарели за сто с лишком лет, являются палладиумом современной веры. Но ведь бороться против язв современного общественного строя идеологией конца восемнадцатого столетия все равно что предлагать против нынешних сверхпушек и пулеметов мортиры и мушкеты того времени. Эти принципы могли быть стенобитными орудиями против монархического строя, но вспахивать революционную ниву ими нельзя. Свою положительную творческую силу они давно утратили. Понятно, что русская интеллигенция сохраняла их, пока в России сохранялся тот монархический строй, для борьбы с которым эта идеология и была выработана в XVIII столетии. Но когда он рухнул, Россия сразу, в несколько месяцев Временного правительства, перелетела через все те иллюзии демократического строя, которые Европа изживала более ста лет. Россия оказалась настолько же впереди западных народов, насколько была сзади их. Советский строй, внезапно возникший на развалинах Российской империи, во всеоружии, как Паллада из головы Зевса, ошеломил, спутал все теории, всю социологию, весь интеллигентский опыт.

Он просто оскорбил, как наглый плебей, ворвавшийся в кабинет, где велись такие ученые разговоры, как дикий сон, бред, требующий права действительности. Кровь бы простили, террор бы простили и всякое насилие, все ошибки — не простили новизны. При революции понятны реки крови, и пара башмаков уже стоила двадцать пять тысяч франков ассигнациями — значит, это в порядке вещей, и это бы поняли. Но такой дерзкий, головоломный прыжок — куда-то вдаль. «Куда те дьявол мчит?» — вдруг сорвалось у старика, «а тот летит и в даль глядит, а даль-то, даль как широка!».

III

<...>

Конечно, такой демократ на обозрении в Фоли-Бержер²⁷ почувствовал бы себя в раю «культуры». Обнаженные плечи стали вообще неким символом: публицисты, клеймящие голод и холод в России, все время возвращаются к ним, видя в них неопровержимый повод, что, в самом деле, возразить против обнаженных плеч? А. Яблоновский²⁸ <...> заставляет стосковаться по ним даже композитора Глазунова²⁹, просившего Уэллса нотной бумаги, и заканчивает свой фельетон поразительным классическим доводом, что на Западе даже бедняки «могут любоваться витринами сказочных магазинов». На этом спор о культуре и комфорте, в самом деле, можно закончить. «Умри, Денис, или больше ничего не пиши». Что можно написать лучше для апологии культуры, как поставить нищего на холодной улице перед витриной сказочного магазина?

На эти указания: «Ваш социализм голодный!», «Ваш социализм вшивый», «Кому он такой нужен?» коммунистические газеты отвечают: «Действительно, кому нужен такой голодный и вшивый социализм», — и, виня во всем блокаду и гражданскую войну, сравнивают Россию с черным вспаханным полем, которое покроется зелеными всходами. После долгой гражданской войны и не до того еще доходили культурные государства: под конец Тридцатилетней войны в Германии ели и человеческое мясо. Нельзя отрицать и того, что когда гражданская война кончилась всего полгода тому назад и с тех пор русские заграничные патриоты усердно втыкают палки в колеса России, то сделать что-нибудь времени не было. Однако причины разрухи лежат глубже: здесь сказалась в самой своей основе ошибочность социализма — то, что он уничтожает частную инициативу.

Делает честь уму советских правителей, что они поспешно повернули назад. Так, Петр Великий³⁰ был достаточно силен, чтобы по по-

воду своего указа о майорате обнародовать, что этот указ «дуростью был учинен»³¹.

Начало деятельности Ленина создало о нем неправильное представление как о фанатике коммунизма. Теперь оно рассеялось. Если революция неизбежно привела к разрухе, к эксцессам, то сменяющая ее уже эволюция явится противоядием. Ведь через четыре года после начала французской революции был 1793 год, апогей террора. Мы же уже подходим к директории³². Температура у больного упала почти до нормальной, как он еще ни изнурен благополучно завершившимся кризисом. Врачи-отравители решительно выставлены за дверь, как ни клянутся, что в их шприцах не яд, а лекарство. Теперь больному нужен покой и хорошее питание. Это, конечно, пока нелегко, но достижимо, если никто не ворвется и не помешает. Главное — не надо больше кровопускания.

О советском строе, существующем всего четыре года, нельзя пока судить, как и о первом бесформенном пароходе, теперь преобразованном в плавучие дворцы. Парламентаризм был централизацией. Все управлялось из столицы, туда собирались депутаты из провинции ради фикции, что они сохранят связь с провинциями. Советский строй — децентрализация. Это прямая противоположность парламентаризму³³.

И если при парламентской централизации проблемы о свободе разрешить не удалось, то, быть может, при советской децентрализации окажется свободнее народ, в любом городе, в любой деревне сам определяющий свой внутренний распорядок, так что в каждой деревне управляет свой комитет, в каждом городе свои комиссариаты юстиции, финансов, народного просвещения — весь государственный аппарат в миниатюре. Что бы ни говорилось про коммунистическую диктатуру, нельзя отрицать, что народные массы таким строем местной жизни привлечены к власти и работают в этих комиссариатах, управляя Россией так же, как, по изречению Николая I, ею управляли столоничальники, впрочем, к народным массам не принадлежавшие. С диктатурой, с суровой централизацией, без которой нельзя было бы и держаться в гражданской войне, своеобразно сочетается очень большая самодеятельность и автономия власти на местах, вышедшей из народа, ибо нельзя же думать, что коммунистов, «наильников», «ничтожной кучки» хватит на всю Россию. Всюду свои законы, обычаи; Полтава, Екатеринослав, Чернигов состоят в федеральной связи, в каждом из них правила и распорядок различнее, чем различных Соединенных Штатах³⁴. Все государство основано на федерации, все города на автономии. Курьезно, что крайние правые русские

беженцы в Сербии основали свой строй управления по советскому типу: в каждом городе свой беженский совдеп. Но опыт советского строя так еще в зародыше, так нуждается в усовершенствовании, как дуб Людовика IX³⁵ сравнительно с системой современной юстиции. Пока можно сказать лишь одно, что форма оказалась жизненной, а оценить это громадной важности историческое явление, совершенно новую форму правления, еще более чем преждевременно. Что такое для формы правление четыре года? Но как жаль, что интеллигенция, не оценив всего значения совершающегося на ее родине, уцепившись за отжившие демократические формулы, забастовкою отказала в своем сотрудничестве России именно тогда, когда оно было наиболее ценно. Сколько эксцессов было бы смягчено и устранено, сколько крови бы не было пролито. Может быть, человечество было бы уже придвинуто к разрешению проблемы свободы, подлежащей решению вновь после того, как история, справившись в отделе решений, нашла, что парламентаризм — ответ неверный. Пожалуй, и не может быть верного ответа, не может быть золотого века, пока существует человечество и проблема свободы — задача на бесконечно великое число, к которому можно только приблизиться, но не достичь его. Можно, однако, даже при все извратившей забастовке интеллигенции с уверенностью сказать, что советский строй, сравнительно с парламентаризмом, шаг вперед, ибо устраняет экономическое рабство. Теперь искания для дальнейшего решения задачи в том, как немедленно, в самом начале, устранить новые, очень тяжелые формы рабства, явившиеся в России на смену рабству экономическому, устранить те дефекты, которых, как и первом пароходе, очень много в советском строе. Здесь помогла бы добросовестная критика, борьба против язв строя для того, чтобы помочь ему, а не борьба против самого советского строя до мифического победного конца. Каков ни есть этот строй, он нравственно сильнее своих противников. За ним будущее, а они стремятся повернуть назад колесо истории. Советский строй стал озлоблен, тяжел, часто несправедлив, но ведь и было отчего, когда в первые полгода, до всей эсеровской азиатщины политических убийств, до ряда убийств из-за угла Володарского³⁶, графа Мирбаха³⁷, Урицкого³⁸, до двух покушении на Ленина³⁹, советская власть, как могла, шла навстречу интеллигенции. Собрания присяжных поверенных и разных других организации были открыты до сентября 1918 года и занимались одним принятием антибольшевистских резолюций. Почти до того же времени существовали «буржуазные» газеты, неистово ругавшие большевиков. Вся доза свободы, которая была первоначально предоставлена интеллигенции, все время была использована для того, что

юридически называется стремлением к низвержению существующего государственного строя. Какое правительство потерпело бы это? А советское терпело долго и, наконец, пришло к заключению, что примирение безнадежно, что ни на что другое, кроме борьбы с советской властью, интеллигенция свободы не обратит. Тогда со свободой было покончено. Долго шло колебание между террором и идиллией, такое характерное для революции вообще. Непримируемость интеллигенции и начавшаяся гражданская война уничтожили совсем идиллию и совсем разнуздали террор⁴⁰.

Террор... Сердце замирает перед трагизмом и страшной ответственностью этой темы. Я знал, что к ней подойду, и подавлен, когда к ней пришел. Но по-прежнему не будем жмуриться, какой бы ужас ни глянул в глаза. «Исследуем», — как бесстрастно говорил Сократ⁴¹, хоть может ли быть перед этою липкою кровавою лужею, покрывшею Россию, какое-нибудь бесстрастное исследование?

IV

Скажем сейчас же самое важное: речь идет не о красном терроре, а вообще о терроре русской гражданской войны — красном и белом, безразлично. Здесь-то неприменнее всего готтентотская мораль: «наших убили — преступление. Ихних убили — так им и надо, даже подвиг». Одна очень добрая и изящная дама говорила о впечатлении, произведенном на нее вокзалом, полным красноармейцев и рабочих: «Если бы я могла, я бы на всех их вылила кислоты». Те, кто мог, делали еще чудовищно хуже. Итак, террор — не козырь для белого или красного лагеря в обвинениях противника. Здесь оба лагеря преступны, оба обагрили руки в братской крови — не бойцов, а беззащитных, часто детей и женщин. Пора кончить с этою аберрацией, при которой, в царские времена, одна часть русского общества покупала на митингах карточки убийц, делая святых из «Маруси» Спиридоновой⁴², Гершуни⁴³, Деконского⁴⁴, Савинкова, а другая требовала «леса виселиц» и славословила карательные экспедиции. И теперь, при возмущении большевистским террором теми, кто уверял, что хочет Россию освободить от террора, в одном Новороссийске было расстреляно столько рабочих и крестьян, мужчин и женщин, что их опутанные колючею проволокою трупы всплывали на самом взморье, где «буржуазия» купалась и возмущалась этим немало: «Что уничтожают эту сволочь — прекрасно, но надо же убирать как следует»⁴⁵. В. Л. Бурцев был в Новороссийске в самый разгар белого террора — и не сказал ни слова: ведь он поддерживал Деникина.

Первым моим впечатлением, когда я перешел фронт, готовый молиться на добровольцев и их трехцветный флаг, были рассказы офицеров, хваставшихся пытками, которым они подвергали пленных, и количеством расстрелянных, которое я тогда же запомнил на всю жизнь: у Армавира одиннадцать тысяч⁴⁶, у Белой Глины — семь⁴⁷. Потом я узнал, что эти цифры преувеличены, хоть были случаи расстрела в данной местности или деревне, в виде кары, всего мужского населения, но какова же психология этих хваставшихся, преувеличивавших цифры? Я должен подчеркнуть, что террор, в общем своем типе, как новороссийские расстрелы или экзекуции провинившихся деревень, был не эксцессом отдельных лиц, а правительственным актом⁴⁸. Но и тогда, когда хронически, месяц за месяцем имели место постоянные эксцессы, разве власть не виновна, по крайней мере, в попустительстве? Моя первоначальная вера в эту власть, все написанное и сделанное мною на юге для помощи ей в пределах моих слабых сил — останутся навсегда самым тяжелым моим воспоминанием, самую печальную ошибку моей жизни. Но кто мог безошибочно разобраться в этом хаосе?

Потом от всего, что пришлось увидеть, сбылось то, что говорили солдаты: «Надо побыть у белых, чтобы стать красным».

Я бежал от красных именно потрясенный террором — и наткнулся на террор. Возмущался отсутствием свобод — и увидел народ в такой кабале, хотя бы крестьян, преданных помещиком на расправу, что перед этим бледнела коммунистическая диктатура: правда, от нее страдал мой класс, а на юге — крестьяне и рабочие. Словом, все отрицательные стороны советского строя, на которые так нападают, я увидел и на юге, часто еще в большей степени. Если понимать большевизм так, как его понимают в белой печати, как выражение отрицательных сторон великой русской революции, как болезнь, сразу, то она охватила всю Россию: нет красного и белого большевизма, есть один большевизм, если большевизм — произвол, озверение, неуважение к личности, алчность и кровь, кровь, кровь. Так слово «большевизм» понимают многие. Сами советские деятели не любят, чтобы их называли большевиками — они коммунисты, советские служащие. Не о словах спор. Если понимать слово «большевизм» подобно эмигрантской печати, в смысле всей дурной стороны революции, как чёрт был дурною и пошлою стороною Ивана Карамазова⁴⁹, то уж, конечно, террор тогда — большевизм, кто бы ни пытал, ни издевался, ни грабил, офицер в погонах или председатель Чека.

Здесь не может быть никаких сделок с совестью. Террор позорен — постыден садизм его, неведомый не только якобинцам,

но и инквизиторам... С этими утонченными, дьявольскими пытками может сравниться лишь террор культурных европейцев и американцев над «низшими расами», черною, красною, желтою, когда, как описывает Мирбо⁵⁰, полдюжине арабов обривают головы и закапывают их по шею в песок пустыни под палящим солнцем, а затем еще поливают эти кочаны, чтобы они не так скоро полопались. Русский террор по своей садической изобретательности сравнялся, пожалуй, даже с главными мастерами этого дела, с англичанами, с их Стэнли⁵¹, с их забавами от сплина в Индии⁵². Террор — главный, тяжкий грех советской власти. Она не может оправдываться ссылкой на зверства добровольцев или англичан, — ведь они ей не указ, они представители отживающего мира, а ее миссия — новая культура, так ее ли начинать с такого ужаса? Если оправдываться революционной необходимостью, то «это больше чем преступление, это — ошибка». Террор стал самодовлеющим, разнуздал низшие, извращенные инстинкты. Харьковцы рассказывали, что малолетний сын известного Саенко⁵³ просил: «Папа, дай мне пострелять буржуев», и отец давал винтовку любимому сыну. Не хочется верить этому, но к безответному небу вопиют бесчисленные, страшные факты, уже несомненные, доказанные кровавыми, снятыми с женщин скальпами, трупами, найденными в таком виде, что даже врачи не могли разобрать, что с ними делали, — напр., были тела темно-коричневого цвета. Террор — ошибка, потому что затруднил советской власти ее несомненное право войти в европейскую семью. Он отбросил Россию в Азию. Он дал тень оправдания белому террору. Он дал главный козырь в руки близоруким проповедникам «борьбы с большевиками до победного конца». Он длит доселе уже кончающееся русское междоусобие, хотя, к счастью, идет на убыль, пропорционально укреплению советской власти. Она укрепилась не благодаря террору, а несмотря на террор.

Не приходится ли тогда отказаться от всякого общения с запятнавшими себя таким преступлением? Однако есть ли русская партия или класс, есть ли часть русского народа, не обагрившая рук в крови? Ведь уж тут трудно судить по степени: кто «вывел в расход» десять тысяч, кто сто тысяч, кто был более мягким, кто более жестоким палачом, кто убивал, кто подстрекал и радовался. Я говорю все время не об убийстве врага в бою, а о пытках, казнях, убийствах беззащитных. И какая партия теперь согласилась бы, принимая власть, отменить смертную казнь? Не кажется ли убеждение о необходимости именно теперь ее отмены, чтобы вывести человечество из кровавого тупика, всякому ответственному политическому деятелю наивной маниловщиной? А тогда уж все сводится к заботам общества покро-

вительства животным перед мясниками: «Убивайте, но не мучьте». Или если уже никак нельзя не мучить, то мучьте все-таки умереннее. Если беззащитного, несопротивляющегося человека можно повести на бойню, если интеллигентские утопии все, что писали против смертной казни лучшие писатели, как Гюго⁵⁴, лучшие юристы, как Таганцев⁵⁵, если огрубевший после войны век стер точно губкою с грифельной доски здесь, казалось, уже навсегда достигнутые заветы, то уж, право, не так важна разница между пыткой интеллектуальной, как у семи осужденных Андреева⁵⁶, или физической пыткой. Это уж вопрос, как понимать государственную необходимость — довольно ли устрашить четвертованием, «чтоб другим неповадно было». Так война нас стремительно отнесла к юриспруденции и психологии Средних веков. А если так, то, извинившись за неуместную сентиментальность и возмущение казнями и пытками, позвольте доложить, что есть две исторические манеры проливать кровь, есть две манеры быть жестоким. Есть жестокость бессмысленная: таковы Нерон⁵⁷, Гелиогабал⁵⁸, Мария Тюдор⁵⁹, Бирон⁶⁰. Они ничего не строят, проливают кровь потому, что это им так нравится. Есть жестокость Сыллы⁶¹, Марка Аврелия⁶², несмотря на свою доброту беспощадно гнавшего христиан, Иоанна Грозного, Петра Великого, Кромвеля⁶³, Людовика XI⁶⁴, Ришелье⁶⁵, Робеспьера⁶⁶. Каждый из них строил разное, но знал, зачем проливает кровь, и если то, что он строил, было умно и полезно, то история ему его кровавый грех отпускала, мало того, признавала, что иначе бы ничего и построить было нельзя. Ведь теория народоправства опровергается еще и тем, что если стоять на принципе большинства, то никогда не будет проведена ни одна решительная реформа, потому что большинство всегда за старину и без ломки обывателю всегда кажется удобнее: ему нет нужды, что ради этого удобства отравляются, чахнут, голодают другие. Жизнь не ждет, когда он наконец увидит, что не может справиться с грудой накопляемых его удобством зол, а до того кладет его под топор, если он ей противится.

Представьте себе, что современники петровской реформы стали бы судить о ней по неуклюжести бояр в новых камзолах, по безобразному заполнению русского языка иноземными барбаризмами⁶⁷, по массовым казням стрельцов и сторонников Софьи⁶⁸, по возмущению стоявших за старую веру смелых и честных христиан, по неудачам русских войск под Нарвою⁶⁹ и в турецкой кампании⁷⁰. Какой хаос! Что сделали со Святой Русью, «а ведь какая была держава!». Как сменили «величавую одежду на другую по шутовскому образцу», исказили русский язык, как жестоко расправляются с противниками,

не считаясь с тем, что на стороне реформы ничтожное меньшинство! И если ее противники не бежали от нее в Европу, то оттого, что из ненавистной им Европы и приходила страшная новизна, но они бежали в скиты и леса, предавали себя самосожжению с более фанатической уверенностью, что страдают за веру, за Русь, чем офицеры белых армий или интеллигенты, гибнущие за границей. Но постепенно все образовалось. Немного понадобилось времени, чтобы защитники старой допетровской Руси, за которую был раньше весь народ, перевелись, сознали свою ошибку. Камзолы оказались удобнее охабней, русский язык стал европейским из азиатского — и Нарву сменила Полтава⁷¹.

Начало всегда страшно, бесформенно, полно преувеличений. Совершенно то же самое произошло с французской революцией, которой вся интеллигенция простила пролитую кровь и невероятный вначале хаос за творческую идею.

Эту-то творческую идею отрицают противники русской революции, применяющие к ней мерку французской. Эмигрировавшая русская интеллигенция объединилась вокруг идей, дорогих ей по воспоминаниям, по ее молодости, по прежним боям — и не увидела вовремя, что эти дорогие ей истины стали ложью и тленом пред быстро бегущей жизнью. Сохраняя эту разбитую жизнью часть выдвинутых первою великою революциею идей, нельзя, конечно, усвоить идеи, выдвинутые второю великою революциею. Вторые, развивая первые, часто отменяют их. Суровый Конвент, так стоявший за народ, однако издал декрет, карающий смертною казнью всякого члена самого же законодательного собрания, который предложит законопроект, в чем-либо посягающий на право собственности. Переоценка «святого права собственности» — главная творческая идея, главная заслуга великой русской революции.

Отчего оно, единственное из прав, называется святым правом собственности?

Отчего на всех съездах особенно настойчиво подчеркивалась необходимость восстановления этой святыни?

По-видимому, такая терминология не соответствует даже христианству — заветам нагорной проповеди. И во всяком случае другие свободы, казалось бы, гораздо святее. Но есть такие мелочи, в которых обнаруживается все. Так как все свободы, лицемерно проповедуемые собственниками, лишь прикрывают это право, то, понятно, святым является оно одно. Оно — господин. Остальные — слуги. Оно — настоящее. Остальные ложь.

Разумеется, не надо, возражая на понимание обновленных русских строем права собственности, уподобляться шурина Нехлюдова,

думавшему, возражая ему, что социалисты хотят разделить все поровну, что это очень глупо и что он сейчас это опровергнет. Не надо уподобляться и матросу, который, спросив буржуя, чья на нем шапка, убил его за ответ «моя» вместо «шапка Российской федеративной советской республики». Уже эрфуртская программа подчеркивает, что вовсе не отрицает собственности. Термин «собственность» имеется в некоторых декретах советской власти. Но собственность не неприкосновенна. Шапка моя, пока не понадобится Российской федеративной советской республике.

Это не ново; наоборот, старо, как мир. Всегда были принудительные отчуждения, налоги, реквизиции. Так что может даже показаться, будто никакой тут реформы нет. Но что она есть — показывают результаты: аннулирование бумажных ценностей, банков, отчуждение земель и домов и вообще вопли всех, утративших свою собственность. Посмотрим же, что делается в этом отношении на Западе и у нас, в чем разница и в чем сходство.

<...>

Взятым по праву — не по праву собственности, основанному на таких мутных источниках, а по праву вековых страданий, векового рабства и труда. Или делать революцию, или не делать. Как можно было думать, что народные массы возьмут власть в свои руки, оставив дворцы, банки, общественные помещения, типографии и все накопленные на народном поте богатства в прежних руках? Черный передел был неизбежен при захвате государственного аппарата. При ломке всех социальных отношений неизбежна была ломка всех прежних прав. Это не входило в задачи революции политической; мало того, если бы делавшие ее правящие классы сознали эту возможность, они бы очень предпочли царя. Но для социальной, экономической революции это было первою задачей.

Теперь понятно, отчего, вопреки утверждениям эмигрировавших публицистов, народ, часто резко критикуя советскую власть, проявляя свое недовольство ею, все же смотрит на нее как на свою, родную и смел всех шедших на нее походом — и отчего за всю историю парламентов не было ни одного, за который народ бы заступился, кто бы их ни разгонял: Наполеон I⁷³, Наполеон III⁷⁴, Николай II⁷⁵, матрос Железняк⁷⁶. Выбирали равнодушно и провожали равнодушно. Была без радостей любовь, разлука будет без печали. Советская же власть для народа — своя, понятная даже при ее ошибках, эксцессах, произволе, притеснениях. Пусть плохая, но своя. Народ здесь отличает самый институт советской власти от дурных ее представителей. С нею есть у него общий язык, если хотите, товарищество. Его недовольство,

местные восстания, все его свары с советской властью — семейное дело. Ведь в семье подчас летят друг другу в голову ухваты и горшки. Но никого другого на смену советской власти народ в Россию не пустит, и тщетно мечтают, внимая рассказам интеллигентных беженцев, парижские москвичи: «Нас призовут». Тех уступок, что они делают теперь, когда это им ничего не стоит, было бы довольно в свое время, чтобы отсрочить революцию. Что же они не делали их тогда, когда земли и фабрики им принадлежали — не перекрестились даже после грома, грянувшего в 1905 г.? Как легкомысленно отнеслись русские правящие классы к данной историей двенадцатилетней передышке. А теперь поздно — и народу в высшей степени все равно, чем они его там дарят в Париже. Он и не подозревает об этом, работая на своих фабриках, на своей земле. И, право, способ, которым он их получил, не хуже других исторических способов, которыми были составлены латифундии и миллионные состояния.

<...> В итоге недавно в одной дружественной державе полицейские извинились перед избитым туристом: избili потому, что думали, что русский. Дальше идти некуда. Не помогают напоминания: «Ведь мы ваши, союзники, мы за вас кровь проливали, и мы скоро поправимся, так только небольшая заминка вышла, а тогда отблагодарим вас, отдадим вам все долги, концессии». Никто и слушать не хочет, а если бы и захотел, то не может: сочувствие народных масс Советской России всюду слишком сильно, и никому неохота посылать потом своих матросов на каторгу за одесский бунт или возиться с нежелающими грузить снаряды рабочими. Когда недавно советская власть хотела реализовать в Германии некоторые сделанные Врангелем заказы, то немецкие рабочие предупредили русских делегатов: «Не берите. Мы знали, что это для Врангеля, и приняли свои меры: все развалится через неделю». Вот международная солидарность — здесь одинаковы английские, французские, немецкие рабочие, здесь одинаковы приемлющие и не приемлющие московскую диктатуру: все готовы защитить, все не выдадут. Так будем же реальными политиками. Пойдем, с кем нам по пути, тем более что сами правительства во всех странах все более вмещают в себя социалистические элементы и к советской власти, как к реальной величине, относятся гораздо лучше, чем к эмиграции, вынужденной по адресу всех наций поочередно грозиться: «Россия не простит!»

Горький опыт показал, таким образом, до чего доводит такая политика. Разве не она помогла англичанам все вывезти из России от Архангельска до Туркестана, всюду, где они «помогали» Белой армии? Черчилль в одной из своих речей указал, что Англия по-

ставляет Добровольческой армии за полную стоимость такое военное снаряжение, которое в другие руки продается всего за три процента — девяносто семь процентов переплачивали! Уплата производилась вывозом всего решительно: пшеницы, ржи, леса с севера, хлопка из Туркестана, нефти из Баку, стоившей в Лондоне тогда дешевле, чем в довоенное время! Все вывозили, все брали.

Тут не поможешь злобою против них воплями: «Англия наш враг». Если бы английский министр защищал интересы не Англии, а России, он заслуживал бы свержения. Историческая тактика «коварного Альбиона» известна. Она доставила ему могущество, и он от нее не отступит. Его надо брать таким, каков он есть. Таким образом, дело здесь не в английских, а в русских вождях. Неумение всех белых вождей, по всей занятой ими громадной территории, оградить русское достояние и, более того, русское достоинство дает и на будущее, которое бы ожидало Россию в случае их власти, самый мрачный прогноз. Ведь тогда Россия стала бы еще более слабой, еще более нуждалась бы в иноземной «помощи».

Сопоставьте с этим отношение к Англии советской власти, как она ограждала честь и достоинство России, как привела Англию к достойному России тону. Она тоже заключила с Англией договор, но как равная с равной. Такие же договоры заключены почти со всеми европейскими большими державами за исключением Франции, но в Черное море одними из первых прибыли с товарами именно французские пароходы. Таким образом, именно советская власть, как ни мешали ей, достигла для России реальных выгод и упрочила ее международное положение.

«Россия отсутствует» — вот та совершенно не соответствующая действительности формула, которая составляет предмет стонов и жалоб, признающих лишь какую-то будто бы будущую, мифическую Россию и отвергающих, как пустое место, настоящую Россию, потому что она им не нравится. Россия и не думает отсутствовать — она давит всю свою мощью даже там, где, по-видимому, отсутствует, например, на силезский вопрос. Когда нам скажут то, чего мы не хотим, куда как верится неохотно. Этим только объясняется величественная, но не выстоявшая долго тактика незамечания России западными державами. Было установлено, как признак хорошего тона, считать, что Россия с начала советской власти провалилась и на ее месте одна дыра осталась. Клемансо⁷⁶ заявил, что решение русского вопроса имеет второстепенное значение. И все вопросы решались без участия России. Тщетно Кашен⁷⁷ в палате депутатов предупреждал: «Можете ли вы претендовать на установление статуса международного мира, не по-

советовавшись с Россией? Можете ли вы претендовать на установление европейского мира, оставляя вне его народ в полтора ста миллионов? Можете ли вы претендовать на урегулирование вопроса о проливах и о ближней Азии без мнения России?» Казалось бы, неотразимые истины, даже азбучные по своей простоте, но на них просто не обратили внимания только оттого, что так принято, когда говорит коммунист. От этого, разумеется, пострадали сами, как человек, не желающий считаться с каким-нибудь твердым телом на своем пути. Например, собрали лондонскую конференцию, где Франция честь честью заключила договор с ангорским⁷⁸ правительством. И вдруг, оказывается, оно не ратифицирует этого договора, предпочитая Франции союз с Россией. С другой стороны, Англия поддерживает Грецию, рассчитывая, как на противника, лишь на Турцию и совершенно не считаясь с тем, что Россия может оказать Турции весьма существенную помощь. В результате биты обе противоположные ставки — и на Турцию, и на Грецию. К царьградским вратам можно прийти мирно или с боем. В начале 1920 года вся печать Антанты третировала Кемаль-Пашу⁷⁹ просто как разбойника, и Греции, как честь и удовольствие, был дан мандат легко покончить с этим разбойником простою карательной экспедицией. Россия появилась рядом с ним. В результате в январе 1921 года министры гордой Антанты уже заседают с «разбойником» за зеленым столом и делают ему важные уступки. А еще через два месяца, благодаря все усиливающейся помощи России, бывший разбойник уже ставит им «чрезмерные условия» и отвергает протянутую ему руку. Россия без всякого империализма *мирно осуществляет вековые задачи своей политики*. Турция из векового врага превращена ею в друга, и какого горячего, какого верного друга. Смотри на Антанту как на свою поработительницу, турки видят и России свою освободительницу. Так накануне разрешения теперь для России неразрешимый вопрос о Константинополе и проливах, так сами готовы распахнуться перед нею царьградские врата. Но их, как всегда, ревниво сторожит Англия. Здесь весь ее несокрушимый мощный флот, все ее страшные силы. Россия разорвала с губительной политикой, в которую вовлекли ее невольные русские марионетки в руках умного Бьюкенена⁸⁰. Россия твердо знает теперь, где ей с Англией по пути и где нет, и, в то время как Англия ведет английскую политику, Россия ведет теперь русскую, влияет на Англию вполне реальными возможностями. В международной политике считаются лишь с тем, кто может наделать неприятностей, или, еще лучше, катастрофу. Одной из лучших шахматных комбинаций Ленина было опереться на Азию. Осуществлено единение с Бухарою, с Афганистаном.

Попутно ведется и ожесточенная, склоняющаяся в пользу России борьба за влияние в Персии. Лорд Керзон⁸¹ в своей речи с огорчением признал, что вековая политика Англии в Персии рухнула, что Персия в руках большевиков. Она предпочла соглашение с Россией соглашению с Англией Турция, Персия, Бухара, Афганистан — это путь в Индию. Опять не империалистическое, мирное завоевание. Пусть английский флот сторожит проливы — дипломатическою, бескровною победою Россия зашла ему в глубокий тыл, осуществляет и здесь веками не осуществимое задание, о котором мечтали Потемкин⁸² и, в союзе с Александром I⁸³, Наполеон⁸⁴. Уже Магомет-Али⁸⁵, индусский вождь, обещает: «Мы устроим революцию, какой мир не видал», и его, по-азиатски неторопливые, многомиллионные сторонники готовят ее, не растрачивая сил. Но там и тут подпочвенный огонь все же уже прорывается в отдельных вспышках. Уже Индия, раба Англии, парий, говорит своей митрополии: «Мы требуем!»⁸⁶ и та слушает, вместо прежних ударов бича. Еще ярче прорывается пламя в Египте. Конгресс представителей цветных рас, собравшийся в Америке, принимает резолюцию, отвергающую право белой расы руководить ими, клеймящую варварские способы этого руководства. Шевелится Китай. Одна Япония, союзница Англии, из всей Азии идет против России, и русские патриоты в Париже радуются захвату ею Владивостока. Этот своеобразный патриотизм вводит нас в самый центр спора. По какому парадоксу истории, в самом деле, интернационалисты делают дело патриотов, защищают Россию, а патриоты делают дело интернационалистов, желают, чтобы пришли англичане, поляки, японцы, как выражаются в современном культурном стиле, «чёрт, дьявол», лишь бы свергнуть ненавистных большевиков? Так, Пасманик⁸⁷ заявил, что для борьбы против большевиков готов продать душу чёрту. Этого чёрта, к великому счастью России, не удастся вызвать, но вызвав, нельзя было бы уже заклясть, как гётевскому ученику колдуна. Интервенция дала уже, как мы видели, страшные плоды. Потом они были бы неисчислимо страшнее. Россия превратилась бы в колонию, в свалку плохо лежавших богатств, которых не в силах были бы защитить вернувшиеся чудом из-за границы в Россию к власти обанкротившиеся правители. Но это не грозный даже сон. Россия жива.

Здесь центр спора, здесь тот «домик паромщика», из-за которого месяцами ожесточенно бились великие армии. Это — позиция проф. Устрялова. Это — призыв Брусилова к русским офицерам⁸⁸. Это — русские настоящие патриоты, честности и испытанной любви к России которых не могут отрицать и противники, это они, число

которых все возрастает, мнение которых все более проникает в массу, говорят: «Пусть у власти интернационалисты, но они же явно творят национальное дело!»

Поляки в 1920 году захватили Киев. Это не было актом борьбы с большевиками, как они потом, когда им пришлось плохо, пытались уверить. Если бы они хотели бороться с большевиками, они бы поддержали наступление Деникина, а не начали бы своего наступления, сознательно допустив гибель Добровольческой армии. Не борьбою с большевиками было русофобство Пилсудского, всех польских чиновников, всей польской печати; в Польше был против русских взят такой же тон, какой берется при начале всякой войны против врага⁸⁹. Бредовские офицеры и солдаты были заключены в концентрационный лагерь, несмотря на их предложение бороться против большевиков⁹⁰. Русские по всей Польше изгонялись, подвергались самому унижительному обращению. Фактами этого рода переполнена печать того времени. В официальных речах, во всей польской печати говорилось, что в интересах Польши необходимо ослабить и расчленить Россию, для чего был создан и союз с Петлюрой⁹¹ о выделении Украины — в тех границах, какие пожелает оставить ей Польша. Что война была против России, не против большевиков, было ясно из этих открыто провозглашенных ею целей — не на Москву и Петроград собирались идти поляки, не свергать советскую власть, а захватить часть русской территории. Как известно, этот захват и был выполнен Рижским миром с оставлением советской власти в полнейшем покое. Так Россия была поставлена лицом к лицу с Польшею, ненавидящею ее понятною ненавистью за вековое рабство, воскресшею со всею прежнею своею политикою использования русской смуты, с завоевательными стремлениями Стефана Батория⁹². Польша не изменилась — встала из гроба с прежним своим характером, только еще озлобленнее за пережитые страдания, и ее вождем, ее кумиром был поставлен тот, кто собирал польские легионы, бившиеся против России в немецких рядах, кто наиболее ненавидел Россию.

Тогда раздался патриотический призыв Брусилова: «Защищайте Россию!» И тогда же Врангель ударил в тыл защищавшей русскую землю Красной армии!

Не теперь только, не после событий, не после Немезиды, выбросившей сделавших это из Крыма в Галлиполийский тартар⁹³, я говорю об этой тяжелой ошибке. В июле 1920 года на состоявшем почти всецело из генералов и сановников съезде беженских представителей в Белграде я один отказался присоединиться к предложению г. Палеолога⁹⁴ послать генералу Врангелю приветственную телеграм-

му и затем в возникшем по этому поводу с г. Палеологом объяснении говорил ему, что Врангель совершает величайшую историческую ошибку, что единственной его патриотической позицией было бы заявить, что перед внешним врагом прекращаются внутренние междоусобия, перед внешнею войною — война гражданская. Если Врангель не мог привести свою армию на призыв Брусилова, создав святой и великий «русский праздник» (выражение проф. Устрялова) примирения, то должен был по крайней мере заявить, что ни один выстрел из Крыма не потревожит Красную армию, пока она не справится с напавшим на Россию врагом. Этою благородною позициею генерал Врангель дал бы бессмертный пример патриотизма, на который ссылались бы в будущих поколениях при так часто возникающем конфликте внутренней политической розни с общею защитой отечества. И сколько крови бы не было бесполезно пролито! Как умирилась бы излишняя вражда, как все бы почувствовали, что они все-таки русские люди, братья, несмотря на всю междоусобицу! Но, конечно, сделав это, бывшие правящие классы России именно доказали бы, что достойны ею править, что им место в Москве, а не в Константинополе, что они способны отрешиться от своих интересов. Такого чуда произойти не могло: эти интересы задавили Врангеля, как его предшественников. Моя беседа с г. Палеологом закончилась его ответом на предупреждение о неминуемой катастрофе: «Знаете, если бы все думали, как вы, то осталось бы броситься вниз головой в Дунай».

И вот все кинулись в Польшу, как в землю обетованную. Врангель послал туда своих эмиссаров, ничего не добившихся. Нельзя даже упрекать поляков, что они его предали своим миром, — ведь они ему не обещали ничего, от него сторонились, как от Деникина. Вольно же было ему все-таки лить на их мельницу не воду — русскую кровь. Затем потянулись караваны паломников: Бурцев, Родичев, Философов⁹⁵, Мережковский⁹⁶, Гиппиус⁹⁷, Савинков — всех и не счесть. Пилсудский был объявлен избранником Бога, в его чертах усмотрено нечто мистическое. Но счастье улыбнулось русскому оружию. Поляки откатились до стен Варшавы. Как быстро были убраны тогда все империалистические лозунги! Не отзвучало еще эхо правительственных речей, не порвались газеты с недавними статьями. Польша башмаков еще не износила, в которых вошла в Киев, как стала клясться, что она совсем не против России — только против большевиков, что она — барьер всему миру от большевистской опасности и поэтому умоляет весь мир о помощи. И Родичев со слезою подтверждал: «Видите! Видите! Они сами говорят, что они не против России, только против большевиков». Ну конечно, как же не верить,

раз сами говорят. Все перья эмигрировавших журналистов были направлены на эту перекраску, на представление общественному мнению всего мира русско-польского конфликта в самом выгодном для Польши и невыгодном для России свете, хоть Россия была совершенно права, не позволила себе относительно Польши ни одного агрессивного шага. Бурцев воззвал: «Спасите Польшу!». И Польше помогли. Одни рабочие старались, как всегда, помочь России в Тулоне и Данциге, но что могли они одни? Соединенными усилиями врангелевской армии и русских публицистов удалось добиться хороших результатов: не только была спасена Варшава, но Польше еще удалось захватить Рижским миром кусок русской территории.

Тогда дружным хором те же публицисты набросились на большевиков: как они смели заключить такой невыгодный для России мир? Вот уж подлинно с больной головы да на здоровую — собственное тяжкое преступление перед родиной переброшено в противный лагерь, как мячик! Кто же виноват в захвате врагом русской земли: те ли, кто помогал ему в Варшаве, или те, кто осаждал Варшаву, кто кровью своею полил русскую Землю и этим отстоял значительную ее часть — не будь советской обороны, ведь поляки остались бы в Киеве, а самостоятельная Украина была бы отдана Петлюре. К чести всего русского офицерства я должен сказать, что кампания публицистов не удалась. Уж на что крайняя правая часть его сосредоточилась в Сербии, на что там высоко стоял авторитет Врангеля, но когда к Варшаве стали подступать русские войска, то среди этого офицерства, среди рядовой беженской массы, далекой от съездов и политики, можно было видеть, как любовь к родине берет верх над ненавистью к большевикам, как бьются русские сердца от сознания: «Это он! Это все тот же русский солдат! Он опять побеждает!» День взятия Варшавы был бы для большинства русских днем торжества — просто, без рассуждений, потому, что русские одержали блестящую победу. Но Врангель и Бурцев сделали свое дело — и вновь исчезло проглянувшее солнце в на миг начавшем рассеиваться кровавом тумане русской вражды.

Нечего повторять давно указанные факты воссоединения советскою властью отторгнутых частей России, начиная с Украины и кончая Грузией. В Кремле всякий интернационалист станет государственным: нельзя, управляя страной, не охранять ее.

Для этой охраны создана трехмиллионная армия. Я глубоко благодарен военным специалистам «Общего Дела», которые своими содержательными статьями помогли мне разобраться в положении России, блестяще доказали, как безрассудно было бы свергнуть власть, сумевшую так поставить военное дело, создать такую дисциплину,

привлечь столько прежних специалистов. Белые армии, куда охотно шли офицеры и не шли крестьяне, где всегда, несмотря на кровавые мобилизации, было слишком мало солдат, показывают, что будущее правительство было бы не в состоянии справиться с этой задачей. Большевики довершили разложение царской армии, расклеванной до приезда Ленина и Троцкого новым «демократическим» двуглавым орлом — Временным правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов. Но большевики сумели и воссоздать армию. Свержение их, разумеется, связано с ее разрушением, но надежда на ее воссоздание крайне сомнительна. Что же, производить над Россией второй опыт разрушения ее армии? Но милые заграничным патриотам соседки России, Япония и Польша, ждать конца опыта не станут и захватят не только Киев и Владивосток. Да вообще, все возьмут, что смогут. Россия, как всякое государство, опирается на свою армию и даже временно без нее остаться не может. Нечего смотреть назад, на отношение большевиков к прежней армии, вперед надо смотреть. А то красные разложили армию, потому что она была белая, а теперь белые разложат ее, потому что она красная. А что станет тем временем с Россией?

По статьям белых специалистов, Красная армия далеко не плоха. Она доказала это многими упорными кампаниями и боями, например, в ледяной воде у взятого в три дня неприступного Перекопа. Каковы бы ни были ошибки ее противников, облегчившие ей ее победы, тем не менее если бы она не была боеспособна, с нею легко бы справились: Деникин был бы в Москве и Пилсудский в Киеве. Недооценивать Красную армию уже нельзя. И кичливые уверения, что довольно одной регулярной дивизии, чтобы гнать ее, той же пробы, как уверение о скором падении советской власти. Но если армия плоха, надо помогать сделать ее лучше: вот и все. Здесь, как всюду, нужна работа интеллигенции, и именно потому, что в военной сфере такая работа была, и получились, во всяком случае, блестящие результаты. Судьи поголовно ушли из суда, и суд, действительно, очень плох. Офицеры же работали над восстановлением армии, и оно удалось. Если бы интеллигенция работала с советской властью в других сферах, были бы такие же результаты — и, главное, давно не было бы террора, да и никогда он не принял бы таких ужасных форм без гражданской войны. Россия страдает от междоусобий с удельно-вечевом периода. Во всяком случае даже непримиримые сторонники «войны до победного конца» должны же согласиться, что есть операции, оправдываемые лишь успехом. Когда взрывали поездные составы, мосты через реки, разрушали целые русские го-

рода русскими руками, а иностранными торпедами русский флот, жгли хлебные запасы, топили несчастных кавалерийских лошадей в Новороссийской бухте, по всей России прошли огнем и мечом, положили гораздо больше народу, чем всякий террор, то это можно было разумно делать, лишь зная, что цель будет достигнута. Если победителей не судят, то побежденных судят очень сурово. Походя-чему в народе выражению, столько спасали, что скоро нечего будет спасать. Гражданская война изнурительнее для государства всякой другой. Великое счастье для России, что она кончилась — пусть даже не победою той стороны, которой симпатизируете вы: неужели весь этот погром России надо опять начинать сначала? Но это могло бы быть оправдано (если могло!) лишь твердым, реальным расчетом на успех, только тогда это было бы разумным хоть для известного лагеря политическим актом, основанным на море русской крови, но где же такой расчет? Отчего результаты опять не будут прежние?

Да, проиграть войну очень тяжело — и войну гражданскую еще тяжелее, так как она ведется за обладание отечеством. Но если война проиграна, то проиграна. Поняли же это умные немцы. Или в русском эмигрантском лагере нет совсем больше здравого смысла, а только одна истерика, одно беспочвенное упрямство? Если война проиграна, надо уметь заключить мир. От обратного пострадают не победители — побежденные. Победителям часто выгодно, когда длится бессильная война. Лишь близорукость непримиримых характеризуется тем, что нужен был им Крым, чтобы прозреть. Теперь они прозрели. Теперь с отчаянием в душе они пытаются декламировать на прежние темы. Иного от них и ждать нечего: нельзя требовать от людей самоубийства нравственного — еще менее, чем физического. Но это — вопрос их личных ощущений. Реальная же политика — мир после войны. Иначе впрямь получится война до победного конца — советской власти над эмиграцией, до конца эмиграции... Вот до чего почти уже довели. Еще оставалось немного времени для мира, но, конечно, будет упущено и оно. А после окончательного распада эмиграции советской власти и мириться будет не с кем. Будут лишь отдельные люди, а не, хоть разбитые, кадры русской интеллигенции, пока еще могущей ставить хоть некоторые условия мира. Он нужен ей — не России. Россия уже справилась.

Какое счастье для нее, что все это — академические рассуждения, что гражданская война бесповоротно окончена, что Белой армии больше нет и что, разумеется, без территории не может быть восстановлена никакая армия. Таким образом, все толки о вооруженной борьбе остаются лишь в статьях и речах, а это — оружие неопасное.

Итак, вооруженная борьба, во-первых, вообще не может быть начата, во-вторых, не может быть приведена к победному концу, и, в-третьих, этот победный конец был бы величайшим несчастьем для России, уничтожил бы ее армию и поверг бы ее в анархию, с которой бы не могло справиться поневоле слабое правительство, «парализуемое» всеми партийными противниками. Это было бы параличом России. Вот когда бы она действительно стала бесхозной землей для колонизации. Она бы погибла, как Тир и Сидон¹⁰⁰. Теперь же она опирается на всю Азию — это очень мощная опора. Еще мощнее поддержка ее народными массами всех, даже враждебных ей официально государств. Эти массы давят на свои правительства. В результате — повсеместные договоры с советской властью, и уже не за горами ее признание. Ведь власть признают не потому, что она симпатична признающему, а просто потому, что она власть. Это простое признание существования. Как же можно не признавать советской власти, когда она существует? Ее признает всякий публицист, когда пишет слова: «советская власть», хоть бы потом добавлял на своем обычном жаргоне бесчисленные против нее ругательства. Любопытная форма компромисса с неотразимой действительностью — небывалая юридическая ересь: бессмысленное отличие признания *de facto*⁹⁹ от признания *de jure*¹⁰⁰. Признают или не признают, а трехмиллионной армии все-таки нет ни у одного европейского государства. Этого уж не признать нельзя. Опираясь на эту армию, на международные массы низших классов и на Азию, Россия начинает новый период своей истории. Будущее покажет, можно ли побить эти козыри, или ими будет выиграна международная игра, но вырвать их из рук России было бы со стороны русских патриотов политическим безумием. Граф Шамбор¹⁰¹ после франко-прусской войны отказался от предложенного ему французского престола потому, что ему было поставлено условием сохранение трехцветного знамени, введенного ненавистными ему красными вместо белого знамени монархии, восстановления которого он требовал. Едва ли граф Шамбор придерживался разумной политики. Теперь Россия собирается под красным знаменем, и нельзя этому препятствовать, настаивая на трехцветном.

С того момента, как определилось, что советская власть сохранила Россию, — советская власть оправдана, как бы основательны ни были отдельные против нее обвинения. Я совершенно не понимаю, как, говоря о «рабстве» под нею русского народа, можно уверять, что он желает именно того «демократического» строя, который не смог продержаться на Руси и года, никакую народную поддержку не пользовался. Очевидно, здесь чаяния интеллигенции разошлись с на-

родными чаяниями. И обратно, самый факт длительности советской власти доказывает ее народный характер, историческую уместность ее диктатуры и суровости. Но именно для того, чтобы смягчить эту суровость, для действительной, реальной борьбы с отрицательными сторонами советской власти необходим частный русский всеобщий мир. Надо же прекратить положение, где гражданская война оправдывается террором, а террор гражданской войною; надо же, как говорят дети, чтобы тот, кто умнее, перестал первый.

Пока же масса молчит, а за нее проводятся тактики в безвоздушном пространстве, вооруженная борьба без оружия, «чем хуже, тем лучше», интриги против каждого договора, каждого торгового акта, совершаемого русским правительством, сочувствие блокаде России, гальванизация представительства умершей власти, помощь нападающим на Россию, отторгающим ее земли государствам извне, помощь внутри анархии кровавою игрой в конспиративность и восстания, то вся эта монархическая, бурцевская, милюковская, эсеровская тактики, все вместе и каждая в отдельности, ведут без всякой для себя пользы к огромному вреду и для России, и для эмиграции. Ударяя так по обоим, будто бы защищаемым величинам, разбивая их в кровь, по советской власти ее противники попасть не могут, не причиняют ей никакого вреда, нимало не колеблют ее положения. И тогда, с досады, принимают бить друг друга. Простой здравый смысл не позволяет на это равнодушно смотреть.

Оттого-то вызывают такую тревогу в противном лагере наши немногочисленные пока голоса, оттого-то звучит таким затаенным желанием вечная острота в ответ на серьезные доводы: «Отчего вы не уедете в Россию?» Как было бы приятно нашим противникам, если бы мы оставили им чистое поле, но мы не признаем за ними монополии на Европу и ведем нашу работу по тому же праву, как они свою, потому что считаем ее необходимою для России, а для русской эмиграции — единственным выходом из создавшегося нестерпимого положения. Ведь, избегая будто бы рабства в России, наша эмиграция стала несомненною работою всякого, стоящего хоть на низших ступенях иноземной власти — солдата, бьющего ее на улицах Константинополя, надсмотрщика в африканской пустыне, любого, издевающегося над ее хлопотами о визах наглеца и канцелярии.

Свободна ли Европа или нет, но мы-то в ней не свободны. И максимум личной свободы, на которой не основан ни европейский, ни советский государственный строй, русские получают лишь тогда, когда их правительство достигнет того же положения, станет таким же сильным, как прежнее русское правительство.

Для защитников русской государственности, для патриотов вопрос весь в том, чем явилась для России советская власть: цементом, склеивающим ее, заполняющим ее трещины, или разъедающею ее кислотой. Вопреки проклятиям эмигрантской печати, все более становится очевидным: не кислота — цемент... Не центробежная анархическая сила — центростремительная, государственная. А тогда можно многое вынести, многое простить — и к многому отнестись с терпением, веря в лучшее будущее. Здесь очень важно, что это будущее в крепких, сильных руках, а не в жалких руках тех деятелей, которые оказались так недостойными власти и которые цепляются за нее без права, потому что для права на власть необходимо быть сильным. Не ново, что против сильной власти всегда раздается обвинение, что она держит население в рабстве, будто бы управляет им помимо его воли. Слаба власть — ее и обвинять ни в чем не стоит: просто она самоупрядняется, гибнет, оставаясь ли формально на месте, как Людовик XIII¹⁰², или обрушиваясь в революционной буре, как Временное правительство. Слабая власть не существует, поэтому народ всегда хочет твердой власти, — а в острые и бурные исторические эпохи она — вопрос существования страны. В настоящую эпоху она вопрос существования России. Но уже тогда дозировать твердость трудно, да и некогда и не до того совсем, — пусть деспотизм, пусть суровость, лишь бы вожжи не были выпущены из рук. Ведь это уж интеллигентская, отвлеченная требовательность: требовать от людей, находящихся у власти, как от какой-то машины, какого-то циферблата весов, чтобы стрелка стояла на определенной цифре, и если она отклонится в одну сторону, жаловаться на бедственную слабость власти, зато когда отклонится в другую — кричать о ее жестокости, о рабстве населения. В действительности ведь не пуста чашка весов — вся тяжесть жизненных условий эпохи лежит на ней и далеко передвигает стрелку. Весы были бы не верны, если бы стрелка оставалась на безразличной, средней зарубке. У русской государственности сейчас две трудные задачи — те, которые всегда стоят перед всякою государственностью: сдерживать натиск извне иноземных сил. Справляется ли власть с этими задачами? Справляется. Значит, она — настоящая государственная власть. Поддерживают ли ее противники эти обе антигосударственные силы? Поддерживают. Значит, они являются противниками русской государственности.

Вот на чем, в исторической перспективе, разрешается спор между советской властью и ее противниками, а не на том, что обязанные быть твердыми и суровыми слишком тверды, слишком суровы. Такой порок ныне для русской власти — качество. On a les défauts de ses

qualités — у каждого есть недостатки, даже пороки своих качеств. Энергичный, властный правитель жесток, сгибает волю народа под свою волю, пренебрегает за делом возвышенными, иногда святыми словами. В своей тяжелой, черной работе он не позволяет себе даже нравственной роскоши быть чистым. Но когда на это нападают его противники, то надо иметь в виду, движет ли ими нравственный идеализм или стремление захватить власть и не готовы ли они также окровавить и запятнать свои, впрочем, уже окровавленные, уже запятнанные ризы.

Историческая перспектива уже становится возможна. Она-то выясняет для все большей массы, русской и иностранной, вопрос о значении советской власти. Теперь, при брезжащем уже свете нового дня, видно, что непостижимая во мраке ее устойчивость объясняется просто тем, что она нужна для России, нужна для человечества. Заря разгорается медленно, но все трудящиеся, все обремененные уже видят на светлеющем небе ее лучи, предрассветный ветерок уже пробегает по трепещущим листьям. Никто не стоял бы за то, чтобы эта заря была кровавой зарею, не стоял бы за социальную революцию, если бы правящие классы самоотверженно могли поступиться своими привилегиями, святостью своего права собственности, хотя бы чтобы спасти его, спасти свое положение, хотя бы из разумного эгоизма, а не из любви к ближнему. Но своею косностью, корыстью и жестокостью они делают невозможным этот исход — и неизбежную социальную революцию. Когда она, происшедшая в России, захватит Европу — сравнительно не так важно; важно, что она идет и придет, что только слепые не видят осыпающихся слоев старого социального строя, только глухие не слышат ее подземных раскатов. Вся почва колеблется — нигде уже нет покоя. А какая дана Европе отсрочка, десять, двадцать пять или больше лет, конечно, важно для нас, смертных, но не для человечества. В его жизни — ничто жизнь одного поколения. А новое, воспитанное в суровой жизненной школе нашего переходного времени, будет куда реалистичнее и тверже нас — не будет уже верить в то, во что мы верили. Мы видели зарю и смежались даже от ее света привыкшие к мраку глаза. Оно увидит солнце. Но не утешайтесь — «передышка», может быть, и не так велика; слишком делается все, чтобы истощить долготерпение судьбы. Рост коммунизма тому яркий симптом — кто думал о коммунизме несколько лет тому назад, кто мог ждать такого общественного сдвига, при котором прежние социалисты окажутся в правом центре любого народа и лозунги их отсталыми? Совершенно независимо от своей концепции будущего социального строя коммунисты являются

знаменосцами будущей жизни, трубачами объявленной социальной борьбы. За это их ненавидят, за это любят. За это ненавидят и любят Россию, ставшую во главе того лагеря, которому суждена победа, ибо он — будущее, а официальная Европа — прошлое. И с востока вновь сияет свет. Русский народ «в рабском виде», в муках неисчислимых страданий несет своим измученным братьям всемирные идеалы — и за них любим, ими обновлен и чист во всей бездне своего падения, ими, в своем унижении, могуч.

Здесь не помогут никакие выстроенные хитроумными политиками барьеры и коридоры, выточенные, как подстриженный сад с клумбами и дорожками, на живом теле Европы. Нет барьера для идеи. Ее огонь уничтожает все препятствия. Но, конечно, как нет великого человека для своего камердинера, так для современников нет великой революции. Они видят ее слишком вблизи, видят лишь очень серьезные, очень важные вещи: разрушение культурных ценностей, кровавую, мученическую гибель часто безвинных жертв, голод, холод, эпидемии, разруху — и всю муть, такую нечистую и отвратительную, которую всегда подымает на поверхность буря. Но значение происходящего для них недоступно, не видно рождения в пламени высших ценностей, не видно, что величайшими преступниками, в исторической перспективе, могут быть не только невинные, скромные, заурядные обыватели, но даже герои, если они тормозят освобождение угнетенных, делают болезненным и медленным неизбежный исторический процесс. И таким героям — дань уважения, и таким безвинно виновным — горькие слезы. Но любовь — одной грядущей жизни человечества, одной ей — новая вера.

